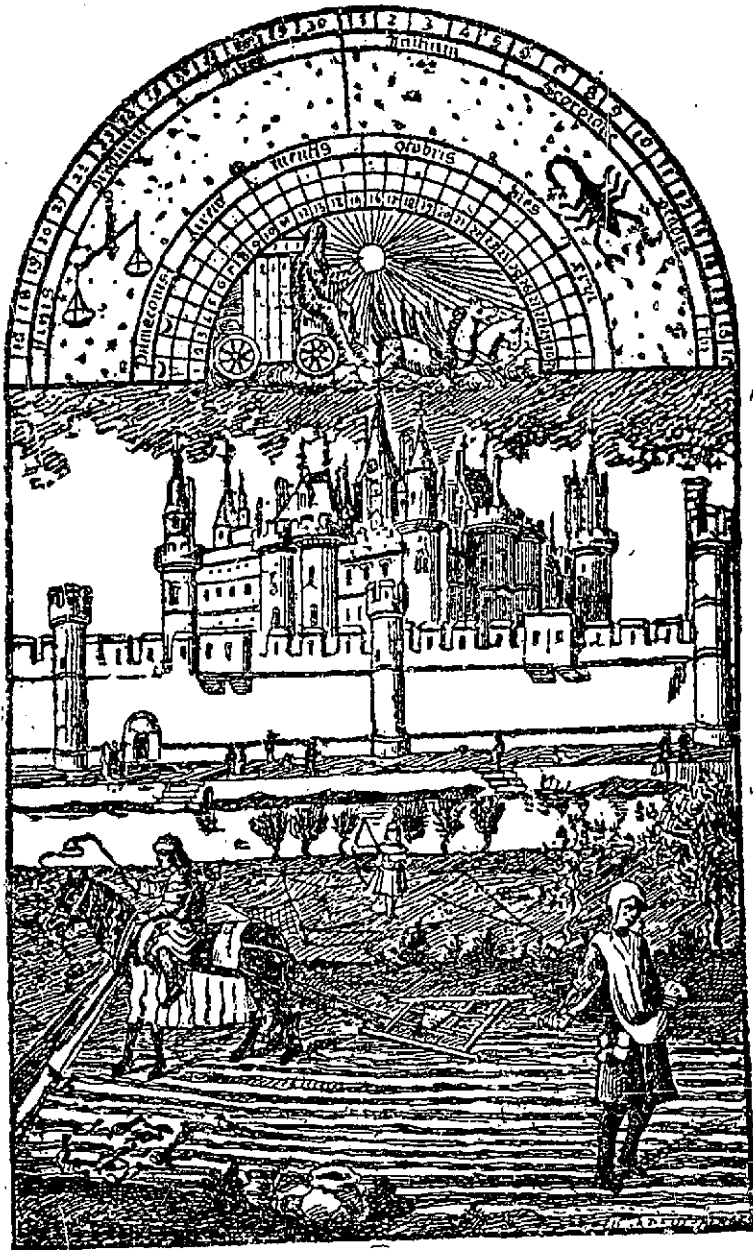


ВѢСЫ © АПРѢЛЬ © 1909.

La Balance. Avril. 1909.

Годъ изданія шестой. Sixième année.



Книгоиздательство «СКОРПИОНЪ»  
Москва, Театральная пл., д. Метрополь, кв. 23.  
Moscou, Place du Théâtre, m. Métropole, 23.

# «ВѢСЫ» ЕЖЕМѢСЯЧНИКЪ ИСКУССТВЪ И ЛИТЕРАТУРЫ.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ ШЕСТОЙ. 1909. N 4, АПРѢЛЬ.

## СОДЕРЖАНІЕ.

### Стихи, повѣсти.

Сергѣй Соловьевъ. Апрель. 5 стихотвореній . . . . .	7
Юрій Сидоровъ. 4 стихотворенія . . . . .	16
Андрей Бѣлый. Серебряный Голубь. Повѣсть въ 7 главахъ. Гл. II.	20

### Памяти Гоголя.

Неизданное письмо о. Матвѣя къ Гоголю . . . . .	65
С. Дурьлинъ. Примѣчаніе къ письму о. Матвѣя . . . . .	66
Андрей Бѣлый. Гоголь . . . . .	69
Эллисъ. Человѣкъ, который смѣется . . . . .	84
Борисъ Садовской. О романтизмѣ Гоголя . . . . .	95
Валерій Брюсовъ. Испеченный . . . . .	98

### Рисунки.

Альберто Мартини. Венеціанскія сумерки . . . . .	57
Его-же. Жестокая страница . . . . .	59
Его-же. Сонъ . . . . .	61
Обложка и фронтисписы (стр. 5 и 55) Н. Теофилактова.—Рамка фронтисписа къ отдѣлу «Памяти Гоголя» (стр. 63) изъ альманаха «Комета» за 1832 г. Общій фронтиспись—миниатюра XIV вѣка.	

## СОДЕРЖАНІЕ.

### SOMMAIRE.

S. Solovieff, G. Sidoroff. Poèmes.—André Biély. La Colombe d'argent.—Le centenaire de Gogol. Une lettre inédite du p. Mathieu à Gogol. — S. Douriline. Commentaire sur la lettre du p. Mathieu.—A. Biély. Gogol. — Ellis. L'homme qui rit. — B. Sadovskoi. Le Romantisme de Gogol.—Valère Brussov. Le Cinéfié.

Dessins. Alberto Martini. Trois dessins inédits. («Crepuscule vénitien», «Une page cruelle», «Rêve»). Couverture et frontispices (pp. 5 et 55) par N. Théophilaktoff. — Frontispice sur page 63 — tiré d'un almanach de 1832.—Frontispice général—miniature du livre d'Heures du duc de Berri.

Рѣчь, прочитанная на торжественномъ засѣданіи О-ва Любителей Россійской Словесности, 27 апрѣля 1909 г.

ОТЪ АВТОРА.

Чтеніе моей рѣчи на торжественномъ засѣданіи Общества Любителей Россійской Словесности въ Москвѣ, 27 апрѣля, вызвало, какъ извѣстно, рѣзкіе протесты части слушателей. Въ тѣ самые дни, когда цѣлый рядъ ораторовъ, въ цѣломъ рядѣ рѣчей, напоминалъ о томъ, какъ въ свое время была освистана „Женитьба“,—свистки не показались мнѣ достаточно вѣскимъ аргументомъ. На другой день пресса, отнесшаяся ко мнѣ (къ моему удивленію) болѣе снисходительно, чѣмъ большая публика, настаивала на томъ, что моя рѣчь хотя и была „оригинальной“, была неумѣстной въ дни юбилея. Не могу согласиться и съ такимъ мнѣніемъ. Полагаю, что истинное чувство великаго поэта состоитъ именно въ изученіи его произведеній и во всесторонней оцѣнкѣ его личности. Этому, по мѣрѣ силъ, я и способствовалъ въ своей рѣчи, и не видѣлъ надобности помнить прежде всего другого—завѣтъ Пушкина:

Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже  
Насъ возвышающій обманъ.

Впрочемъ, свою „истину“ (насколько я правъ въ своей оцѣнкѣ Гоголя, судить, конечно, не мнѣ) я ни въ какомъ случаѣ не могу признать „низкой“. Утверждать, что Гоголь былъ фактастъ, что, несмотря на всѣ свои порыванія къ точному воспроизведенію дѣйствительности, онъ всегда оставался мечтателемъ, что и въ жизни онъ увлекался иллюзіями,—не значитъ унижать Гоголя. Опровергая школьное мнѣніе, будто Гоголь былъ послѣдовательный реалистъ, я не тѣнь бросалъ на Гоголя, но только пытался освѣтить его образъ съ иной стороны.

Мысль, сужденіе, слово — должны быть свободны. Кажется, это

довольно старое требованіе. Отъ желанія мѣшать говорить оратору свистомъ и стукомъ — недалекъ шагъ до оправданія всякаго рода цензуръ. Пусть каждый оцѣниваетъ писателя согласно съ доводами своего разсудка: требовать, чтобы всѣ въ своихъ оцѣнкахъ слѣдовали разъ выработанному шаблону, — значитъ остановить всякое движеніе научной мысли. Разумѣется, я не пошелъ бы читать на юбилей Гоголя, если бы не цѣнилъ и не любилъ Гоголя, какъ писателя. Тогда я выбралъ бы другое время для того, чтобы высказать свои взгляды. Но не понимаю, почему я не долженъ былъ читать въ дни юбилея, потому только, что смотрю на Гоголя нѣсколько иначе, чѣмъ другіе.

Безспорно моя рѣчь не была сплошнымъ панегирикомъ, мнѣ приходилось указывать и на слабыя стороны Гоголя. Но развѣ возможна правдивая оцѣнка челоука и писателя, если закрывать глаза на его слабыя стороны? Невольно вспоминаются безсмертные слова городничаго: „Оно, конечно, Александръ Македонскій герой, но зачѣмъ же стулья ломать?“ Гоголь—великій писатель, но почему же благоговѣть, хотя бы и на юбилей, передъ каждой его строкой, передъ каждымъ его шагомъ? Я, по крайней мѣрѣ, не испытываю такой потребности „лежать то предъ тѣмъ, то предъ этимъ на брюхѣ“. Думаю и убѣжденъ, что и о великихъ писателяхъ должно говорить языкомъ свободнымъ, а не рабымъ.

Мнѣ остается добавить, что, согласно съ самымъ характеромъ рѣчи, произносимой устно, я могъ дать только эскизы, только общій очеркъ своего пониманія Гоголя. Въмѣсто обстоятельнаго доказательства своихъ положеній я могъ лишь иллюстрировать ихъ отдѣльными примѣрами. Печатаю я свою рѣчь безо всякихъ измѣненій, такъ, какъ я ее произносилъ; восстановлено только нѣсколько незначительныхъ мѣстъ и второстепенныхъ цитатъ, опущенныхъ въ чтеніи исключительно въслѣдствіе того, что засѣданіе 27 апрѣля затянулось долѣе, нежели то ожидалось.

Валерій Брюсовъ.

I.

Если бы мы пожелали опредѣлить основную черту души Гоголя, ту *faculté maîtresse*, которая господствуетъ и въ его творчествѣ и въ его жизни, — мы должны были бы назвать стремленіе къ преувеличенію, къ гиперболѣ. Послѣ критическихъ работъ В. Розанова и Д. Мережковского \* невозможно болѣе смотрѣть на Гоголя, какъ на послѣдовательнаго реалиста, въ произведеніяхъ котораго необыкновенно вѣрно и точно отражена русская дѣйствительность его времени. Напротивъ того, Гоголь, хотя и порывался быть добросовѣстнымъ бытописателемъ окружавшей его жизни, всегда, въ своемъ творчествѣ, оставался мечтателемъ, фантастомъ, и, въ сущности, воплощалъ въ своихъ произведеніяхъ только идеальный міръ своихъ видѣній. Какъ фантастическія повѣсти Гоголя, такъ и его реалистическія поэмы—равно созданія мечтателя, уединеннаго въ своемъ воображеніи, отдѣленнаго ото всего міра непреодолимой стѣной своей грезы.

Къ какимъ бы страницамъ Гоголя ни обратились мы,—славословить ли онъ родную Украину, высмѣиваетъ ли пошлость современной жизни, хочетъ ли ужаснуть, испугать пересказомъ страшныхъ народныхъ преданій или очаровать образомъ красоты; пытается ли учить, наставлять, пророчествовать, — вездѣ видимъ мы крайнюю напряженность тона, преувеличенія въ образахъ, неправдоподобность изображаемыхъ событій, изстуженную неумѣренность требованій. Для Гоголя нѣтъ ничего средняго, обыкновеннаго,—онъ знаетъ только безмѣрное и безконечное. Если онъ рисуетъ картину природы, то не можетъ не утверждать, что передъ нами что-то исключительное, божественное; если красавицу, — то непременно небывалую; если мужество, — то неслыханное, превосходящее всѣ примѣры; если чудовище, — то самое чудовищное изъ всѣхъ, рождавшихся въ воображеніи человѣка; если ничтожество и пошлость, — то крайнія, предѣльные, не имѣющія себѣ подобныхъ. Свѣрхъкая русская жизнь 30-хъ годовъ обратилась подъ перомъ Гоголя въ такой апофеозъ пошлости, равнаго которому не можетъ представить міру ни одна эпоха всемирной исторіи.

У Эдгара По есть рассказъ о томъ, какъ два матроса проникли въ опустѣлый городъ, постигнутый чумой. \*\* Тамъ, войдя въ одинъ

\* В. Розановъ. Два этюда о Гоголѣ. Приложение къ книгѣ: Легенда о великомъ инквизиторѣ. (1 изд. Спб. 1893).—Д. Мережковский. Гоголь и чортъ. (1 изд. М. 1906).

\*\* King Pest.

домъ, увидѣли они чудовищное общество, пировавшее за столомъ. Особенность участниковъ попойки состояла въ томъ, что у каждого была до чрезмѣрности развита одна какая-нибудь часть лица. У одного былъ непомерной величины лобъ, подымавшійся надъ головой какъ корона; у другого—невѣроятно огромный ротъ, шедшій отъ уха до уха и открывавшійся какъ страшная пропасть; у третьяго—несообразно длинный носъ, толстый, дряблый, спадавшій, какъ хоботъ, ниже подбородка; у четвертаго—безобразно отвисшія щеки, лежавшія на его плечахъ, какъ бурдюки вина,—и т. д. Всѣ герои Гоголя напоминаютъ эти призраки, пригрезившіеся Эдгару По, — у всѣхъ у нихъ чудовищно, несоразмѣрно развита одна часть души; одна черта психологіи. Созданія Гоголя—великія и страшныя каррикатуры, которыя, только подчиняясь гипнозу великаго художника, мы въ теченіе десятилѣтій принимали за отраженіе въ зеркалѣ русской дѣйствительности.

Вотъ передъ нами уѣздный городъ, отъ котораго „хоть три года скачи, ни до какого государства не доѣдешь“. Открывается занавѣсъ, и мы видимъ за столомъ у городничаго обитателей этого города, его чиновниковъ. Не ошиблись ли мы дверью, и не попали ли, вмѣстѣ съ двумя пьяными матросами, въ ужасный залъ въ зачумленномъ Лондонѣ Эдгара По? Не тѣ же ли передъ нами уродины, какія предстали глазамъ удивленныхъ и испуганныхъ матросовъ? Развѣ городничій Сквозникъ-Дмухановскій, судья Ляпкинь-Тяпкинь, попечитель надъ богоугодными заведеніями Земляника, и всѣ другіе, съ дѣтства хорошо знакомыя намъ лица, не страдаютъ тою же болѣзью, какъ фантастическіе герои Эдгара По? Развѣ у одного изъ нихъ не чудовищный лобъ, у другого не неимоверный ротъ, у третьяго не немислимые щеки?

Прислушаемся къ ихъ рѣчамъ:

— Лѣкарствъ дорогихъ мы не употребляемъ,—говоритъ Земляника. — Человѣкъ простой: если умереть, то и такъ умереть; если выздоровѣетъ, то и такъ выздоровѣетъ.

Городничій жалуется, что отъ засѣдателя такой запахъ, словно онъ сейчасъ вышелъ изъ винокуреннаго завода.

— Это ужъ невозможно выгнать,—возражаетъ судья,—онъ говоритъ, что въ дѣтствѣ мамка его ушибла, и съ тѣхъ поръ отъ него отдаетъ немного водкою.

Появляется Хлестаковъ. „Ну что было въ этомъ вѣртопрахѣ похожаго на ревизора?“—спрашиваетъ позднѣе городничій. Точно, ничего похожаго. Заѣзжій, остановившійся въ гостиницѣ, въ номерѣ „подъ лѣстницей“, не платящій по счетамъ, выпрашивающій себѣ объѣдъ,—какой же это ревизоръ? Въ уѣздномъ городѣ жизнь каждаго человѣка на виду, Хлестаковъ не могъ за двѣ недѣли, что онъ

жить въ городѣ, не примелькаться всѣмъ на улицѣ; однако, между нимъ и городничимъ происходитъ такой, приблизительно, діалогъ:

Хлестаковъ. Да что-жь дѣлать?... Я не виноватъ... Я, право, заплачу... Мнѣ пришлютъ изъ деревни.

Городничій. Извините, я, право, не виноватъ... Позвольте мнѣ предложить вамъ переѣхать со мною на другую квартиру.

Хлестаковъ. Нѣтъ, не хочу! Я знаю, что значить на другую квартиру: то-есть—въ тюрьму. Да какое вы имѣете право? Да какъ вы смѣете?..

Городничій. Помилуйте, не погубите! Жена, дѣти маленькія...

Начинается сцена лганья Хлестакова:

— Просто, не говорите. На столѣ, напимърѣ, арбузъ,—гъ семьсотъ рублей арбузъ. Сушь въ кастрюлькѣ прямо на парходѣ прѣхаль изъ Парижа... Въ ту же минуту по улицамъ курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себѣ: тридцать пять тысячъ однихъ курьеровъ!.. Меня завтра же произведутъ прямо въ фельдмаршл..

Въ какой бы степени опьяненія ни былъ человѣкъ, врядъ ли, не сойдя съ ума, можетъ онъ говорить такія нелѣпости. Это не типическое лганье, а какое-то сверхъ-лганье, лганье безмѣрное, какъ и все безмѣрно у Гоголя.

— Мнѣ кажется,—говоритъ Хлестаковъ Земляникъ, — какъ будто бы вы вчера были немножко ниже ростомъ, не правда ли?

Земляникъ. Очень можетъ быть.

Анна Андреевна спрашиваетъ Хлестакова:

— Вы вѣрно и въ журналы помѣщаете?

Хлестаковъ. Моихъ, впрочемъ, много есть сочиненій: „Женитьба Фигаро“, „Робертъ-Дьяволъ“, „Норма“. Ужь и названій даже не помню. И все случаемъ: я не хотѣлъ писать, но театральная дирекція говоритъ: „Пожалуйста, братецъ, напиши что-нибудь“. Думаю себѣ: „Пожалуй, изволь, братецъ“. И тутъ же въ одинъ вечеръ, кажется, все написалъ.

Хлестаковъ волочится за Анной Андреевной.

— Но позвольте замѣтить,—возражаетъ она, — я въ нѣкоторомъ родѣ... я замужемъ..

Хлестаковъ. Это ничего! Для любви нѣтъ различія; и Карамзинъ сказалъ: „Законы осуждаютъ“. Мы удалимся подъ сѣнь струй... Руки вашей, руки прошу.

„Тридцать пять тысячъ курьеровъ“, „Были вчера ниже ростомъ?—Очень можетъ быть“, „Въ одинъ вечеръ все написалъ“, „Мы удалимся подъ сѣнь струй“,—это все не подслушано въ жизни, это—реплики, въ дѣйствительности невысказанныя, это — пародія на дѣйствительность. Пошлости обыденнаго разговора сконцентрированы въ діалогъ гоголевскихъ комедій, доведены до непомерныхъ размѣ-

ровъ, словно мы смотримъ на нихъ въ сильно увеличивающее стекло.

Сцена мѣняется. Передъ нами—другой городъ, тотъ, гдѣ есть магазинъ съ вывѣской: „Иностранецъ Василій Федоровъ“. Проходитъ рядъ новыхъ лицъ, но у всѣхъ у нихъ все та же гипертрофія какой-нибудь одной стороны души. Скупость Плюшкина, грубость Собакевича, умильность Манилова, тупость Коробочки, безудержность Ноздрева, лѣнь Тѣтѣтнкова, обжорство Пѣтуха,—это опять: непомерный носъ, несоразный ротъ, невѣроятныя щеки героя Эдгара По. И всѣ эти помѣщики и помѣщицы, которыхъ объѣзжаетъ стяжатель Чичиковъ со своимъ страннымъ предложеніемъ, весь этотъ міръ маниаковъ, говоритъ такъ, какъ не говорятъ въ жизни, совершаетъ поступки, какихъ никто не могъ бы совершить.

Чичиковъ предлагаетъ Коробочкѣ продать ему мертвыхъ.

— Мое такое неопытное, вдовье дѣло,—возражаетъ помѣщица.— Лучше же я маленько повременю, авось понаѣдутъ купцы, да примѣнюсь къ цѣнамъ.

Чичиковъ торгуется съ Плюшкинымъ:

— Почтеннѣйшій,—сказалъ Чичиковъ,—не только по сорока копеекъ, по пятисотъ рублей заплатилъ бы! Съ удовольствіемъ заплатилъ бы, потому что вижу—почтенный, добрый старикъ терпитъ по причинѣ собственнаго добродушія.

— А ей-Богу такъ! Ей-Богу правда!—сказалъ Плюшкинъ,—все отъ добродушія.

Разговариваетъ Чичиковъ и Маниловъ:

— Не правда ли, что губернаторъ препочтеннѣйшій и прелюбезнѣйшій человѣкъ?—спрашиваетъ Маниловъ.

— Совершенная правда, препочтеннѣйшій человѣкъ,—отвѣчаетъ Чичиковъ.

— А вице-губернаторъ, не правда ли, какой милый человѣкъ?

— Очень, очень достойный человѣкъ.

— Ну, позвольте, а какъ вамъ показался полицеймейстеръ? Не правда ли, что очень пріятный человѣкъ?

— Чрезвычайно пріятный. и какой умный, какой начитанный человѣкъ!

— Ну, а какого вы мнѣнія о женѣ полицеймейстера? Не правда ли, прелюбезнѣйшая женщина?

— О, это одна изъ достойнѣйшихъ женщинъ...

Всѣ эти разговоры — шаржи: смѣшная сторона человѣческихъ отношеній въ нихъ преувеличена до крайности; нелѣпость въ нихъ доведена до какого-то культа.

Когда въ городѣ узнаютъ, что Чичиковъ скупалъ мертвыя души, чиновники начинаютъ судить и рядить объ немъ, и толки ихъ

тотчасъ доходятъ до послѣднихъ границъ вѣроятнаго. Одни говорятъ, что Чичиковъ—дѣлатель фальшивыхъ ассигнацій. Другіе—что онъ хотѣлъ увести губернаторскую дочку. Третьи—что онъ капитанъ Копейкинъ. „А изъ числа многихъ, въ своемъ родѣ, смѣтливыхъ предположеній было, наконецъ, одно,—странно даже и сказать,—что не есть ли Чичиковъ переодѣтый Наполеонъ“. Гоголь прибавляетъ, что „повѣрить этому чиновники не повѣрили, а, впрочемъ, придумались“. Прокуроръ же, „пришедши домой, сталъ думать, думать, и вдругъ, какъ говорится, ни съ того, ни съ другого, умеръ“.

Въ другомъ городѣ, въ томъ, гдѣ былъ магазинъ съ вывѣской: „Иностранецъ изъ Лондона и Парижа“, появленіе Гоголевскаго героя производитъ путаницу еще болѣе грандіозную. Послѣ того какъ Чичикова арестовали, защитникъ его, юрисконсультъ, сталъ „производить чудеса на гражданскомъ поприщѣ“: губернатору далъ знать стороною, что прокуроръ на него пишетъ доносъ; жандармскому чиновнику далъ знать, что секретно проживающій чиновникъ пишетъ на него доносы; секретно проживающаго чиновника увѣрилъ, что есть еще секретнѣйшій чиновникъ, который на него доноситъ... Доносъ съѣлъ верхомъ на доносѣ, и пошли открываться такіа дѣла, которыхъ и солнце не видывало, и даже такіа, которыхъ и не было... Скандалы, соблазны и все такъ замѣшалось и сплелось вмѣстѣ съ исторіей Чичикова, съ мертвыми душами, что никоимъ образомъ нельзя было понять, которое изъ этихъ дѣлъ было главнѣйшая чепуха... Когда стали, наконецъ, поступать бумаги къ генераль-губернатору, бѣдный князь ничего не могъ понять. Весьма умный и расторопный чиновникъ, которому поручено было сдѣлать экстрактъ, чуть не сошелъ съ ума... Въ одной части губерніи оказался голодь... Въ другой части губерніи расшвелились раскольники. Кто-то пропустилъ между ними, что родился антихристъ, который и мертвымъ не даетъ покоя, скупая какія-то мертвыя души. Каялись и грѣшили и, подъ видомъ изловить антихриста, укокошили не-антихристовъ... Въ другомъ мѣстѣ мужики взбунтовались“...

Неужели же эта удивительная революція, вызванная похожденіями Чичикова, менѣе невѣроятна, чѣмъ то происшествіе, что носъ майора Ковалева, исчезнувъ съ лица своего обладателя, сталъ развѣзжать по Петербургу, одѣтый въ мундиръ съ золотомъ? Увлекаясь своимъ изображеніемъ общаго хаоса, созданнаго ловкимъ юрисконсультомъ, Гоголь чуть ли не готовъ позабыть, что все это—преувеличеніе, чуть ли не готовъ самъ повѣрить, что Чичиковъ—антихристъ, и въ уста князя, собравшаго передъ отъѣздомъ чиновниковъ, влагаетъ слова совершенно неожиданныя: „Дѣло въ томъ, что пришло время намъ спасать нашу землю!“ Реальное отъ фантастическаго не

отдѣлено ничѣмъ въ созданіяхъ Гоголя, и возможное въ нихъ каждую минуту способно перейти въ невозможное.

И въ какой бы городѣ, въ какую бы усадьбу не заглянулъ Гоголь, вездѣ видитъ онъ сбивающую съ толку нелѣпость, вездѣ встрѣчаетъ своихъ невѣроподобныхъ героевъ. Мичманъ Жевакинъ, на вопросъ Арины Пантелеймоновны, зачѣмъ пожаловалъ, отвѣчаетъ: „Въ газетахъ вижу объявленіе о чемъ-то. Дай-ко, думаю себѣ, пойду. Погода же показалась хорошею, по дорогѣ вездѣ травка“. Федоръ Ивановичъ Шпонька, когда тетушка его сватаетъ, возражаетъ: „Какъ жена? Нѣтъ-съ, тетушка, сдѣлайте милость. Я еще никогда не былъ женатъ. Я совершенно не знаю, что съ нею дѣлать“. И совершенно въ тонъ съ этими, будто бы реалистическими репликами звучатъ нарочитыя несообразности „Носа“: „Вы изволили затерять носъ свой?—Такъ точно.—Онъ теперь найденъ. Его перехватили почти на дорогѣ. Онъ уже сядилъ въ дилижансъ и хотѣлъ уѣхать въ Ригу. И паспортъ давно былъ написанъ на имя одного чиновника“... Какъ не повѣрить послѣ этого словамъ Гоголя, который самъ говоритъ: „Если бы кто видѣлъ тѣ чудовища, которыя выходили изъ-подъ пера моего вначалѣ для меня самого, онъ бы содрогнулся“.

Но не только въ изображеніи пошлаго и нелѣпаго въ жизни Гоголь переходитъ всѣ предѣлы. Это еще можно было бы объяснить сознательнымъ приемомъ сатирика, стремящагося выставить осмиваемое имъ въ особенно-смѣшномъ, въ намѣренно-преувеличенномъ видѣ. Въ совершенно такіа же преувеличенія впадаетъ Гоголь и тогда, когда хочетъ рисовать ужасное и прекрасное. Онъ совершенно не умѣетъ достигать впечатлѣнія соразмѣрностью частей: вся сила его творчества въ одномъ единственномъ приемѣ: въ крайнемъ сгущеніи красокъ. Онъ изображаетъ не то, что прекрасно по отношенію къ другому, но непременно абсолютную красоту; не то, что страшно при данныхъ условіяхъ, но то, что должно быть абсолютно-страшно.

Вотъ бьются казаки подъ стѣнами Дубно:

„Демидъ Поповичъ трехъ закололъ простыхъ, и двухъ лучшихъ шляхтичей сбиль съ коней. И выгналъ коней далеко въ поле, крича стоящимъ казакамъ перенять ихъ. Потомъ вновь пробился въ кучу, одного убилъ, другому накиннулъ арканъ на шею, привязалъ къ сѣдлу и поволокъ его по всему полю... Какъ стройный тополь носился онъ (ляхъ) за буланомъ конѣ своемъ. Двухъ запорожцевъ разрубилъ на-двое. Кукубенко, припустивъ коня, полетѣлъ ему прямо въ тылъ и сильно вскрикнулъ, такъ что вздрогнули всѣ близъ стоявшіе отъ нечеловѣческаго крика. Хотѣлъ было поворотить вдругъ своего коня ляхъ и стать ему въ лицо, но не послушался конь. И досталъ его



ружейною пулей Кукубенко. Вошла въ спинныя лопатки ему горячая пуля... Польстился корыстью Бородатый: нагнулся, чтобы снять съ него дорогіе доспѣхи... И не услышалъ Бородатый, какъ налетѣлъ на него свави красноносый хорунжий. Не къ добру повела корысть казака: отскочила могучая голова и упалъ обезглавленный трупъ, далеко вокругъ оросивши землю. Понеслась къ вышинамъ суровая казакская душа, хмурясь и негодуя\*.

Въ какую эпоху совершаются эти героическія дѣянія?—Въ Малороссіи XVI вѣка или въ мнѣшескія времена похода подъ Троию? Кто это рубить враговъ на-двое, одинъ одолеваетъ пятерыхъ, въ ужасъ приводитъ всѣхъ нечеловѣческимъ крикомъ? — запорожцы или герои Гомера, богоподобный Діомедъ, сынъ богини Ахиллъ, пастьеры народовъ—Агамемнонь? \*

Но что такое вся эпопея о Тарасѣ Бульбѣ, какъ не рядъ гиперболическихъ образовъ, гдѣ и картины Украины, и удалъ казаковъ, и первобытность ихъ жизни—все изображено въ преувеличенномъ, крайне изукрашенномъ видѣ? Идетъ бой и „летятъ головы“, „снопамъ валяются ляхи“, сияетъ „сабельный блескъ“. Андрій пѣлуется „благонныя уста“, „полный не на землѣ вкушаемыхъ чувствъ“. Полячка чувствуетъ, что рѣчами своими Андрій „разодралъ на части ея сердце“. „Ни крика ни стопа“ не слышно изъ устъ Остапа при страшной казни, „даже тогда, когда стали перебивать ему на рукахъ и ногахъ кости, когда ужасный хряскъ ихъ послышался среди мертвой толпы“. Безтрепетно стоитъ на кострѣ Тарасъ.—и поэтъ восклицаетъ: „Да развѣ найдутся на свѣтѣ такіе огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!“—И т. под., и т. под. Исторія Украины только подавала поводъ Гоголю рисовать картины какой-то героической эпохи, мечтавшей ему. \*\*

Впрочемъ, и другіе герои Гоголя все чувствуютъ, все переживаютъ гиперболически. Иванъ, въ „Страшной мести“, ужасаетъ самого Бога своей ненавистью. „Страшна казнь, тобою выдуманная, человекъ“,—говоритъ ему Богъ. Мертвымъ отъ страха падаетъ на землю Хома Брутъ въ „Віѣ“. Безмѣрной завистью охваченъ герой „Портрета“. „Размѣръ страстей былъ слишкомъ неправиленъ и колосаленъ для слабыхъ силъ жизни“, — говоритъ объ немъ Гоголь. На героя „Невскаго проспекта“ бросила взглядъ встрѣчная красавица, и вотъ—„дыханіе занялось у него въ груди, все въ немъ обра-

\* Очень вѣроятно, что бой Дубно и написанъ не столько на основаніи изученія малороссійской старины, сколько подъ влияніемъ перевода Гиббича „Иліады“.

\*\* Какъ извѣстно, украинскія повѣсти Гоголя подвергъ суровой критикѣ съ точки зрѣнія исторической и этнографической правды еще П. Кулишъ въ 1861 г. Его статьи вызвали въ свое время живую полемику.

тилось въ неопредѣленный трепетъ, всѣ чувства его горѣли; тротуаръ несея подъ нимъ, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мостъ растягивался и ломался на своей аркѣ, домъ стоялъ крышею внизъ“... И даже Констанжогло, изъясняя Чичикову счастье быть помѣщикомъ, „сіяетъ весь, какъ царь, въ день торжественнаго вѣнчанія своего“, причемъ кажется, что „какъ бы лучи исходятъ изъ его лица“.

Сама природа, у Гоголя, дивно преобразуется, и его родная Украина становится какой-то невѣдомой, роскошной страной, гдѣ все превосходитъ обычные размѣры. Всѣ мы заучили въ школѣ наизусть отрывокъ о томъ, какъ „чуденъ Днѣпръ при тихой погодѣ“... Но что же есть вѣрнаго и точнаго въ этомъ описаніи? Похоже ли оно сколько-нибудь на реальный Днѣпръ? „И чудится, будто весь вылитъ онъ изъ стекла, и будто голубая зеркальная дорога, безъ мѣры въ ширину, безъ конца въ длину, рѣветъ и вьется по зеленому міру... Рѣдкая птица долетитъ до середины Днѣпра. Пышный! ему нѣтъ равной рѣки въ мірѣ... Нѣтъ, ничего въ мірѣ, что бы могло прикрыть Днѣпръ. Синій, синій ходитъ онъ плавнымъ разливомъ и среди ночи, какъ середь дня; виденъ за столько вдаль, за сколько видѣть можетъ человѣческое око“. Какой же это Днѣпръ? Это „фантастическая рѣка фантастической земли! Подъ-стать ей стоятъ „подоблачныя дубы“, подъ-стать ей летитъ пламя пожара „вверхъ подъ самыя звѣзды“ и гаснетъ „подъ самыми дальними небесами“, подъ-стать ей „неизмѣримыми волнами“ тянутся степи, о которыхъ Гоголь восклицаетъ: „Ничего въ природѣ не могло быть лучше!“

Въ той же фантастической странѣ своей мечты подсмотрѣлъ Гоголь и ту ночь, которую назвалъ украинской ночью? „Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь въ нее: съ середины неба глядитъ мѣсяцъ; необъятный небесный сводъ раздался, раздвинулся еще необъятнѣй; горитъ и дышитъ онъ. Земля вся въ серебряномъ свѣтѣ, и чудный воздухъ и прохладно душень, и полонъ нѣги, и движетъ океанъ благоуханій. Недвижно, вдохновенно стали лѣса... Дѣвственныя чащи черемухъ и черешенъ пугливо протянули свои корни въ ключевой холодъ... Сыплется величественный громъ украинскаго соловья, и чудится, что и мѣсяцъ заслушался его посреди неба... А вверху все дышитъ, все дивно, все торжественно!“ Какія напряженныя слова, какая театрално-пышная картина! Соответствуетъ ли она милой, но простой и скромной природѣ Малороссіи? \*

\* Какая разница между гиперболическимъ описаніемъ Гоголя и гармонической стройностью Пушкинскихъ стиховъ:

Тиха украинская ночь.

Прозрачно небо. Звѣзды блещутъ.

Но всего ярче, быть может, сказалась склонность Гоголя къ гиперболѣ въ попыткахъ рисовать женскую красоту. У красавицы „Невскаго проспекта“—„уста были замкнуты цѣлымъ роємъ преле- стнѣйшихъ грезъ; все, что остается отъ воспоминаній о дѣтствѣ, что даетъ мечтаніе и тихое вдохновеніе при свѣтящейся лампадѣ. —все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось въ ея гар- моническихъ устахъ. Боже, какія божественныя черты!“ Полячка въ „Тарасѣ Бульбѣ“ обладала „ослѣпительной красотой“; позднѣе ли- шенія осады не могли „помрачить чудесной красоты ея“, но лишь придали ей что-то „неотразимо-побѣдоносное“. У дочери сотника въ „Віѣ“ чело было „какъ снѣгъ, какъ серебро“, „брови—ночь среди солнечнаго дня“, „уста—рубины“ и т. д.

Особенно безудержно было перо Гоголя, когда онъ рисовалъ свою Аннунціату: „Попробуй взглянуть на молиію, когда, раскрывши черныя, какъ уголь, тучи, нестерпимо затрепещетъ она цѣлымъ по- токомъ блеска: таковы очи у албанки Аннунціаты... Какъ ни по- воротить она сіяющей снѣгъ своего лица —образъ ея весь отпечат- лѣлся въ сердцѣ... Обратится ли затылкомъ съ подобранными кверху чудесными волосами, показавъ сверкающую шею и красоту невидан- ныхъ землею плечъ,—и тамъ она чудо. Но чудеснѣе всего, когда гля- нетъ она прямо очами въ очи, водрузивъ хладъ и замираніе въ сердце... Никакой гибкой пантерѣ не сравниться съ нею въ быстротѣ, силѣ и гордости движеній. Все въ ней вѣнецъ созданія, отъ плечъ до антич- ной, дышащей ноги и до послѣдняго пальчика на ея ногѣ...“ Что это? описаніе живого человѣка, или безудержный полетъ въ мірѣ небе- валаго и невозможнаго! Послѣ ареста Чичикова „доносъ съль вер- вомъ на доносѣ“, не вправѣ ли мы сказать, что здѣсь „гипербола съла верхомъ на гиперболу“?

Мы знаемъ, что Гоголь много работалъ надъ собираніемъ мате- ріаловъ для своихъ повѣстей. До насъ дошли записныя книжки Го-

Своей дремоты превозмочь  
Не хочеть воздухъ. Чуть трепещуть  
Средристыхъ тополей листы.  
Луна спокойно съ высоты  
Надъ Ылой-Церковью сіяеть.

У Пушкина ночь „тиха“, у Гоголя она „божественная“; у Пушкина луна спокойно сіяеть“, у Гоголя она „на серединѣ неба (непремѣнно, на серединѣ!) заслушалась грома соловьи“; у Пушкина воздухъ „дремлетъ“, у Гоголя онъ „полонъ нѣги и движеть океаль (непремѣнно, океанъ!) благоуханій“; у Пуш- кина звѣзды „блещуть“, у Гоголя „вверху все дивно, все торжественно“; у Пушкина листья тополей „чуть трепещуть“, у Гоголя кусты черешень и чере- мухъ оказались „дѣвственными чащами“ и т. д.

голя, куда онъ вносилъ свои наблюденія, мѣткія слова, поразившіе его обороты и т. п. До насъ дошли сборники малороссійскихъ пѣсенъ, составленные Гоголемъ. Въ своихъ письмахъ къ роднымъ Гоголь постоянно просилъ ихъ доставлять ему всевозможныя „извѣстія о малороссіянахъ“, собирать данныя про „старовину“. Но замѣчательно, что всѣ эти тщательно собранныя матеріалы совершенно преобра- жались подъ его перомъ, что образы дѣйствительности разрастались одной какой-нибудь стороною, то чтобы стать чѣмъ-то „ослѣпительно- прекраснымъ“, то чтобы явить „излишество и множество низкаго“. Дѣйствительность измѣнялась въ созданіяхъ Гоголя, какъ измѣ- нился колдунъ „Страшной мести“, приступивъ къ волхвованію,—„Носъ вытянулся и повиснулъ надъ губами, ротъ въ минуту раздался до ушей, зубъ выглянулъ изо рта“,—или какъ измѣнилась вѣдьма отъ заклятій Хомы Брута,—вмѣсто старухи „предъ нимъ лежала кра- савица, съ растрепанною роскошною косою, съ длинными, какъ стрѣлы, рѣсницами“.

Гоголь самъ оставилъ намъ намекъ, что именно въ такомъ на- правленіи онъ всегда и велъ свою работу. Такъ, въ программѣ ненаписанной драмы изъ украинской старины онъ говоритъ: „Да исполнится она вся (драма) нестерпимаго блеска... (Облечь ее) въ потокъ рѣчей неугасаемой страсти, и въ самоотверженіе не- слыханное, дикое и нечеловѣчески-великолѣпное“. Точно такъ же въ замѣткахъ къ „Мертвымъ душамъ“ онъ говоритъ: „Идея города—возникшая до высшей степени пустота. Какъ все... при- няло выраженіе смѣшного въ высшей степени... Какъ эти сообра- женія доходятъ до верха смѣшного“. Да, Гоголь основывался на наблюденія, на изученіи, но все доводилъ до „высшей степени“, до „верха смѣшного“, обращалъ въ „неслыханное“ и „нечеловѣче- ское.“ \*

„Гоголь всѣ явленія и предметы разсматривалъ не въ ихъ дѣй- ствительности, но въ ихъ предѣлѣ“,—такъ формулируетъ то

\* У Гоголя былъ еще другой способъ пользоваться собранными матеріалами: онъ безъ мѣры нагромождалъ свои наблюденія въ одномъ мѣстѣ, какъ бы оглу- шая читателя номсклатурой. Такъ, описывая рабочій дворъ Плюшкина, онъ вспоминаетъ—„дерево шпное, точеное, лаженое и плетеное: бочки, пересѣкл, ушаты, лагуны, жбаны съ рыльцами и безъ рылецъ, побратимы, лукошки, мы- кальники, куда бабы кладутъ свои мочки и прочій дрягъ, коробья изъ тонкой гнутой осины, бураки изъ плетеной берестки и много всего, что идетъ на по- требу богатой и бѣдной Руси“. Подобно этому при посѣщеніи собачника Но- здрева Гоголь упоминаетъ „всякихъ собакъ, и густо-псовыхъ, и чисто-псовыхъ, всѣхъ возможныхъ цвѣтовъ и мастей: муругихъ, черныхъ съ подпалынами, полво- пѣгихъ, муруго-пѣгихъ, красно-пѣгихъ, черноухихъ, сѣроухихъ“.



что мы здѣсь утверждаемъ, В. Розановъ \*. Конечно, Россія время Гоголя не была населена тѣми маніаками, тѣми чудовищами и тѣми ангелами красоты, которые выступаютъ передъ нами изъ его повѣстей. Тогда жили такіе же люди, какъ теперь, въ которыхъ смѣшное соединялось съ благороднымъ, красота съ безобразіемъ, героизмъ съ ничтожествомъ. Ихъ умѣлъ видѣть Пушкинъ, изобразившій ихъ въ „Евгеніи Онѣгинѣ“, въ „Повѣстяхъ Бѣлкина“, въ „Мѣдномъ всадникѣ“, но Гоголь ихъ не видѣлъ. Онъ сотворилъ свой особенный міръ и своихъ особенныхъ людей, развивая до послѣдняго предѣла то, что въ дѣйствительности находилъ лишь въ намекъ. И такова была сила его дарованія, сила его творчества, что онъ не только далъ жизнь этимъ вымысламъ, но сдѣлалъ ихъ какъ бы реальнѣе самой реальности, заставилъ ближайшія поколѣнія забыть дѣйствительность, но помнить имъ созданную мечту. Въ теченіе многихъ лѣтъ на Николаевскую Россію и на Украину мы все смотрѣли сквозь гоголевское стекло.

и.

Но стремленіе къ крайностямъ, къ преувеличеніямъ, къ гиперболѣ сказалося не только въ творчествѣ Гоголя, не только въ его произведеніяхъ: тѣмъ же стремленіемъ была проникнута вся его жизнь. Все совершающееся вокругъ онъ воспринималъ въ преувеличенномъ видѣ, призраки своего пламеннаго воображенія легко принималъ за дѣйствительность и всю свою жизнь прожилъ въ мірѣ смѣняющихся иллюзій. Гоголь не только „все явленія и предметы разсматривалъ въ ихъ предѣлѣ“, но и все чувствовалъ переживалъ также „въ ихъ предѣлѣ“.

„У меня все разстроено внутри,—признавался какъ-то разъ самъ Гоголь.—Я, напримѣръ, увижу, что кто-нибудь споткнулся, тотчасъ же воображеніе мое за это ухватится, начнетъ развиваться и все въ самыхъ страшныхъ призракахъ. Они до того меня мучатъ, что не даютъ мнѣ спать и совершенно истощаютъ мои силы“. Многое въ жизни Гоголя объясняется этой его склонностью „все развивать и въ самыхъ страшныхъ призракахъ“.

Письма Гоголя, какъ юношескія, такъ и зрѣлыхъ лѣтъ, представляютъ разительные примѣры того, какъ легко увлекалась его

\* Два этюда о Гоголѣ.

душа то въ сторону крайняго отчаянія, то безпредѣльнаго восторга, то гордости, то самоуничженія. Юношей онъ пишетъ матери: „Съ самыхъ временъ прошлыхъ, съ самыхъ лѣтъ почти непониманія, я пламенѣлъ неугасимой ревностью сдѣлать жизнь свою нужной для блага государства... Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не потерять, не сдѣлавъ блага“. Тотъ же напряженный восторженный тонъ повторяется десять лѣтъ спустя, въ письмѣ къ Жуковскому: „Никакое развлеченіе, никакая страсть не въ состояніи была на минуту овладѣть моею душою и отвлечь меня отъ моей обязанности“. Раскаиваясь въ своемъ побѣгѣ за границу 1829 г., онъ пишетъ матери изъ Любека: „Это ужасно! Это раздираетъ мое сердце. Простите, милая, великодушная маменька, простите своему несчастному сыну, который одного только желалъ бы нынѣ — повергнуться въ объятія ваши и излить предъ вами изрытую и опустошенную бурями душу свою“.

Впадая въ другую крайность, въ 1837 г., онъ не находитъ словъ, чтобы выразить свой восторгъ передъ Италіей: „Что за земля Италія, — пишетъ онъ. — Все прекрасно подъ этимъ небомъ. Нѣтъ лучшей участи какъ умереть въ Римѣ“. И въ другомъ письмѣ: „Когда я увидѣлъ во второй разъ Римъ, о, какъ онъ мнѣ показался лучше прежняго! Мнѣ казалось, будто я увидѣлъ свою родину, въ которой нѣсколько лѣтъ не бывалъ я... Но нѣтъ, это все не то: не свою родину, но родину души своей я увидѣлъ, гдѣ душа моя жила еще прежде меня, прежде чѣмъ я родился на свѣтъ“. Врядъ ли все это только риторика,—вѣроятно, Гоголь въ тѣ минуты, когда писалъ, такъ именно и чувствовалъ. „Мысли мои состоятъ изъ вихря“, признался онъ однажды.

Въ Римѣ, въ 1837 г., Гоголь получилъ извѣстіе о смерти Пушкина. Вотъ въ какихъ выраженіяхъ онъ писалъ о своемъ впечатлѣніи Плетневу: „Никакой вѣсти хуже нельзя было получить изъ Россіи. Все наслажденіе моей жизни, все мое высшее наслажденіе исчезло вмѣстѣ съ нимъ. Ничего я не предпринималъ безъ его совѣта... Тайный трепетъ невкушаемаго на землѣ удовольствія обнималъ мою душу. Боже! нынѣшній трудъ мой, внушенный имъ, его созданіе! я не въ силахъ продолжать его. Нѣсколько разъ принимался я за перо — и перо падало изъ рукъ моихъ“... Почти то же повторялъ онъ и Погодину: „Моя утрата больше всѣхъ... Моя жизнь, мое высшее наслажденіе умерло вмѣстѣ съ нимъ... Ничего не предпринималъ, ничего не писалъ я безъ его совѣта. Все, что есть у меня хорошаго, все имъ этимъ обязанъ я ему... Что теперь жизнь моя!“

Самая приподнятость тона этихъ жалобъ заставляетъ видѣть въ нихъ скорѣе минутную экзальтацію, чѣмъ выраженіе стойкаго чувства. Замѣчательно, что этотъ тонъ отчаянья не выдержанъ до конца даже

въ самыхъ письмахъ. Письмо къ Плетневу продолжается такъ: „Пришлите мнѣ деньги, которыя долженъ внести мнѣ Смирдинъ къ первымъ числамъ апрѣля. Вручите ихъ такимъ же порядкомъ Штиглицу, дабы онъ отправилъ ихъ къ одному изъ банкировъ въ Римъ для передачи мнѣ. Лучше если онъ переведетъ ихъ на Валентина“ и т. д. Приписка эта столь неожиданна, такъ противорѣчитъ по тону началу письма, что первый издатель писемъ Гоголя не рѣшился ее напечатать и помѣстилъ въ своемъ изданіи лишь строки о Пушкинѣ. Письмо къ Погодину кончается такъ: „Пріѣзжай въ Римъ. Здѣсь мое всегдашнее пребываніе. Небо чудное. Пью его воздухъ и забываю весь міръ“. — „Забываю весь міръ“, подходит ли такое заключеніе къ словамъ „все мое наслажденіе умерло вмѣстѣ съ Пушкинымъ“ и къ восклицанію: „Что теперь вся жизнь моя“?

„О, Пушкинъ! Пушкинъ! какой прекрасный сонъ мнѣ снился въ жизни!“ — восклицалъ позднѣе Гоголь. Дѣйствительно, Пушкинъ былъ для него сномъ, грезой, видѣніемъ. До насъ дошли письма Гоголя къ Пушкину и Пушкина къ Гоголю, и мы знаемъ, что настоящей дружбы, интимной близости между ними не было. Три небольшихъ письма Пушкина крайне сдержаны, хотя привѣтливы, любезны. Письма Гоголя, тщательно обработанныя, мѣстами старающіяся насмѣшить, почти всѣ наполнены дѣловыми просьбами. Но на мѣсто этихъ реальныхъ, простыхъ отношеній Гоголь создалъ въ своихъ мечтахъ иныя, въ которыхъ Пушкинъ являлся его другомъ, его покровителемъ, его учителемъ. Пушкинъ умираетъ, и Гоголю уже кажется, что „все наслажденіе его жизни исчезло“; онъ уже вѣритъ, что „ничего не предпринималъ, ничего не писалъ“ безъ совѣта Гоголя и что „Мертвыя души“ не только трудъ, имъ „внушенный“, но прямо—его, Пушкина, „созданіе“.\*

Впрочемъ, не одинъ Пушкинъ, но и многое другое въ жизни было для Гоголя „прекраснымъ сномъ“. Какъ извѣстно, въ 1834 г. Гоголь выхлопоталъ себѣ, при содѣйствіи Жуковскаго, катедру Средней исторіи въ Петербургскомъ университетѣ. Увлекаясь народными малороссійскими пѣснями, прочтя нѣсколько старыхъ лѣтописей и нѣсколько книгъ по исторіи, поговоривъ съ Погодинымъ,—Гоголь, незамѣтно для самого себя, пришелъ къ увѣренности, что онъ—историкъ. Онъ уже былъ убѣжденъ, что если только министръ Уваровъ прочтаетъ его планъ (преподаванія), онъ „отличитъ его отъ толпы вялыхъ профессоровъ, которыми набиты университеты“. Погодину онъ писалъ:

\* П. Азненковъ рассказываетъ, что Пушкинъ уступилъ сюжетъ „Мертвыхъ душъ“ Гоголю не совсемъ охотно, и въ кругу своихъ домашнихъ говорилъ: „Съ этимъ малороссомъ надо быть осторожнѣе, онъ обираетъ меня такъ, что и кричать пельзя“. То же рассказываетъ и Л. Павлицевъ.

„Мнѣ кажется, что сдѣлаю кое-что не общее во всеобщей исторіи“. Мало того: воображеніе Гоголя увлекло его тотчасъ къ самымъ грандіознымъ планамъ, и онъ мечталъ не просто о работѣ историка, но о созданіи „исторіи Малороссіи“ въ 6 томахъ, „средней исторіи“ въ 9 томахъ и еще „всеобщей исторіи“\*. Еще въ 1833 г. Гоголь писалъ Пушкину: „Какъ закипятъ труды мои въ Кіевѣ... Тамъ кончу я исторію Украйны и юга Россіи и напишу всеобщую исторію, которой, въ настоящемъ видѣ ея, до сихъ поръ, къ сожалѣнію, не только на Руси, но даже и въ Европѣ нѣтъ“. Между тѣмъ въ то время, изъ исторіи Украйны, которую Гоголь собирался „кончить“, врядъ ли существовала хоть одна строка. Нѣсколько позже онъ сообщалъ: „Исторію Малороссіи я пишу всю, отъ начала до конца. Она будетъ въ шести малыхъ или четырехъ большихъ томахъ“. Затѣмъ: „Я пишу исторію среднихъ вѣковъ, которая будетъ состоять томовъ изъ 8-ми, если не изъ 9-ти“. Отъ работы надъ всѣми этими книгами, которыя Гоголь, по его увѣреніямъ, уже „писалъ“, не осталось никакихъ слѣдовъ въ его бумагахъ. Можетъ быть, и существовали отдѣльные наброски, которые Гоголь, по своему обычаю, уничтожилъ, но естественнѣе думать, что Гоголю, въ его увлеченіи, воображаемая книги казались какъ бы существующими, и онъ говорилъ объ нихъ, какъ о чемъ-то вполне реальномъ.

Гоголь постоянно нуждался въ деньгахъ, такъ какъ писалъ очень мало, и другихъ средствъ, кромѣ литературнаго заработка, у него не было. Но и въ эту область, область денежныхъ отношеній, вносилъ онъ всю свою мечтательность. Въ одномъ письмѣ онъ такъ утѣщалъ художника Иванова, жаловавшагося на тяжелое матеріальное положеніе: „Деньги, какъ тѣнь или красавица, бѣгутъ за нами только тогда, когда мы бѣжимъ отъ нихъ... Кто слишкомъ занятъ трудомъ своимъ, того не можетъ смутить мысль о деньгахъ, хотя бы даже и на завтрашній день ихъ у него не доставало. Онъ займетъ безъ церемоніи у перваго попавшагося пріятели“. Получивъ черезъ Жуковскаго денежное пособіе, онъ писалъ Шевыреву: „Теперь мнѣ смѣшно, когда подумаю, о чемъ хлопоталъ. Хорошо, что Богъ былъ милостивъ и всякій разъ меня наказывалъ: въ то время, когда я думалъ о своемъ обезпеченіи, никогда у меня не было денегъ; когда же не думалъ, тогда онѣ всегда ко мнѣ приходили“. При такомъ взглядѣ на вещи, Гоголь безъ особаго затрудненія принималъ помощь и своихъ друзей, и государя, и наслѣдника. Въ то же самое время онъ строилъ фантастическіе планы широкой помощи бѣднымъ студентамъ изъ денегъ, получаемыхъ отъ продажи его сочиненій. Одно

\* Въ одномъ письмѣ къ Погодину Гоголь кстати ужъ обѣщалъ написать и „всеобщую географію“ въ 3 томахъ.

такое пожертвованіе онъ затѣялъ въ 1844 г., поручивъ распредѣленіе денегъ въ Петербургъ Плетневу, въ Москвѣ—Шевыреву, но изъ фантастическаго проекта ничего не вышло. И когда позднѣе, по поводу хлопотъ о пособіи самому Гоголю, Плетнева спросили: „какое же Гоголю нужно вспоможеніе, когда онъ безпрестанно назначаетъ пожертвованія въ пользу студентовъ“, — Плетневъ отвѣчалъ: „Гоголя пожертвованіе есть фантазія. Денегъ въ сборѣ никакихъ нѣтъ“. Второй еще болѣе фантастическій, тоже не осуществившійся проектъ былъ задуманъ Гоголемъ въ 1846 г., когда онъ собирался выпустить новое изданіе „Ревизора“ для бѣдныхъ—требовалъ, чтобы Щепкинъ со сцены предлагалъ покупать эту книгу, хотѣлъ организовать цѣлый комитетъ, подѣ предсѣдательствомъ гр. А. М. Вельегорской и т. д.

Но не только однѣми свѣтлыми иллюзіями тѣшилъ себя Гоголь; онъ знавалъ и не мало черныхъ призраковъ. Такъ, всю жизнь Гоголь почиталъ себя больнымъ и чуть только не при-смерти. При всей слабости организма Гоголя, эта его постоянная болѣзнь все же была, повидимому, одной изъ его безчисленныхъ иллюзіей. 29 лѣтъ отъ роду Гоголь уже говорилъ: „скудельный составъ мой часто одолевается недугомъ и крайне дряхлѣетъ“. Въ письмахъ къ матери и друзьямъ онъ постоянно жалуется на свое здоровье, а его воображеніе „развивая все въ самыхъ страшныхъ призракахъ“, уже подсказываетъ ему мысль о близкой смерти. „Я дорожу теперь минутами моей жизни, — пишетъ онъ въ 1837 г., — потому что не думаю, чтобы она была долговѣчна“. „О, другъ!—воскликаетъ онъ въ письмѣ къ Погодину, 1838 г., — если бы мнѣ на четыре, пять лѣтъ еще здоровья! И неужели не суждено осуществиться тому... Много думалъ я совершить“... О свойствахъ своей болѣзни Гоголь давалъ показанія самыя разнообразныя. С. Т. Аксакова Гоголь, еще въ молодости, изумилъ жалобами на свои недуги, такъ какъ по виду казался совершенно здоровымъ. На вопросъ, чѣмъ онъ боленъ, Гоголь отвѣтилъ, что причина его болѣзни находится въ кишкахъ. Это не мѣшало Гоголю любить хорошо поѣсть. „Гоголь ужасно мнителенъ,“— писалъ одинъ изъ его друзей изъ Рима, въ 1840 г.—Онъ ничѣмъ не былъ такъ занятъ, какъ своимъ желудкомъ, а между тѣмъ никто изъ насъ не могъ съѣсть столько макаронъ, сколько онъ ихъ отпуская иной разъ“. Когда о его болѣзни сталъ его спрашивать Языковъ, Гоголь объяснилъ, что она происходитъ отъ особеннаго устройства его головы и отъ того, что его желудокъ поставленъ вверхъ ногами.

Чрезвычайно характерна манера работы Гоголя надъ его произведеніями. Мы знаемъ медленный и упорный трудъ Пушкина, его исчерканныя, покрытыя безчисленными поправками рукописи. Но съ этимъ и сравнить нельзя неимоверный подвигъ Гоголя, какой

совершалъ онъ, прежде чѣмъ признавалъ свое созданіе болѣе или менѣе законченнымъ. Гоголь никакъ не могъ остановиться въ своей работѣ; его все преувеличивающей душѣ постоянно казалось, что новое его созданіе исполнено недостатковъ, и онъ стремился все дальше и дальше совершенствовать его. Даже послѣ напечатанія того или другого произведенія, онъ вновь къ нему возвращался и передѣлывалъ иногда почти заново. Намъ известны двѣ печатныя редакціи „Тараса Бульбы“, и двѣ „Портрета“. „Ревизоръ“ былъ законченъ еще въ 1834 г., но затѣмъ совершенно передѣланъ и въ этой новой обработкѣ поставленъ на сцену въ 1836 г. Однако, въ 1841 г. Гоголь измѣнилъ рядъ сценъ для второго изданія комедіи, а въ 1842 г. передѣлалъ ее еще разъ для третьяго изданія. Надъ первымъ томомъ „Мертвыхъ душъ“ Гоголь работалъ, усидчиво и постоянно, шесть лѣтъ; надъ вторымъ—почти десять, такъ и не признавъ его окончаннымъ...

С. Т. Аксаковъ рассказываетъ, что Гоголь прочелъ однажды въ его семьѣ вторую редакцію первой главы „Мертвыхъ душъ“; всѣ были поражены, какъ сумѣлъ художникъ усовершенствовать свое созданіе, а Гоголь съ довольствомъ сказалъ: „Вотъ что значитъ, когда живописецъ далъ послѣдній тушь своей картинѣ. Поправки, повидимому, самыя ничтожныя: тамъ одно словцо убавлено, здѣсь прибавлено, а тутъ переставлено, и все выходитъ другое“. Такъ именно и работалъ Гоголь, заботясь о каждомъ словѣ, о каждой мелочи, стремясь къ предѣльному совершенству. По словамъ того же С. Т. Аксакова, такая творческая работа Гоголя понемногу сдѣлалась для него „мученичествомъ“, перешедшимъ впослѣдствіи въ „безполезную пытку“. И самъ Гоголь сознавался, что свой трудъ писателя онъ совершалъ „съ болѣзненными напряженіями“, что ему „каждая строка досталась потрясеніемъ“.

Въ оцѣнкѣ своихъ произведеній Гоголь проявлялъ ту же неуверенность, то же увлеченіе крайностями, какъ и во всемъ другомъ. Порою онъ готовъ былъ отрицать за ними всякое значеніе, доходить въ отзывахъ о себѣ до крайняго самоуничиженія. Въ 1836 г., въ письмѣ къ Жуковскому, онъ отрекается отъ всѣхъ своихъ созданій. „Что такое все написанное мною до сихъ поръ?—спрашиваетъ онъ.—Мнѣ кажется, какъ будто я разворачиваю давнюю тетрадь ученика, въ которой на одной страницѣ видно нерадѣніе и лѣнь, на другой нетерпѣніе и поспѣшность, робкая дрожащая рука и смѣлая замашка шалуна, вмѣсто буквъ выводящая крючки, за которые быють по рукамъ“... Въ 1838 г. онъ утверждаетъ, что ему „страшно вспомнить обо всѣхъ своихъ мараньяхъ“. „Забвенья, долгаго забвенья просить душа,—воскликаетъ онъ.—И если бы появилась такая моль, которая бы съѣла внезапно всѣ экземпляры „Ревизора“, а съ ними „Арабе-

ски“, „Вечера“ и всю прочую чепуху, и обо мнѣ, въ теченіе долгаго времени ни печатно, ни изустно не произносилъ никто ни слова,— и бы благодарилъ судьбу“. Издавая „Выбранныя мѣста изъ переписки“, онъ говоритъ, что ему „хотѣлось искупить безполезность всего, доселѣ имъ напечатаннаго“ и прежнія свои сочиненія называетъ „необдуманнѣйшими и незрѣлыми“.

И рядомъ съ этимъ Гоголь часто переходилъ къ гордости тоже безпредѣльной, къ самоувѣренности безмѣрной. „Я чувствовалъ всегда, — признается онъ, — что буду участникъ сильный въ дѣлѣ общаго добра, и что безъ меня не обойдется“. „Мнѣ ли не благодарить Пославшаго меня на землю!—говоритъ онъ въ одномъ изъ тѣхъ же писемъ, гдѣ отрекается отъ своего прошлаго.—Какихъ высокихъ, какихъ торжественныхъ ощущеній, невидимыхъ, незамѣтныхъ для свѣта, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сдѣлаю, чего не дѣлаетъ обыкновенный человѣкъ. Львиную силу чувствую въ душѣ своей“, и т. д. И со спокойнымъ самосознаніемъ художника онъ пишетъ пророческія слова о 2-й части „Мертвыхъ душъ“, въ свое время такъ прогнѣвившія критику, слова о томъ, что придетъ время „когда инымъ ключемъ грозная выюга вдохновенія подымется изъ обложенной въ священнѣйшій ужасъ и въ блистанье главы, и почувють, въ смущенномъ трепетѣ, величавый громъ другихъ рѣчей“. Посылая въ печать „Выбранныя мѣста изъ переписки“, онъ пишетъ Плетневу о своей книгѣ: „Она нужна, она слишкомъ нужна всѣмъ“. Даже послѣ неуспѣха книги онъ вѣритъ, что она должна „породить многія капитальныя произведенія“.

Всю жизнь Гоголь былъ увѣренъ, что онъ находится подъ особымъ покровительствомъ Промысла. Въ юношескихъ письмахъ онъ не разъ повторяетъ, что „Богъ имѣетъ объ немъ особенное свое попеченіе“. Въ 1836 г. онъ пишетъ: „Чувствую, что не земная воля направляетъ путь мой“. Въ томъ же году онъ выражается еще сильнѣе: „Кто-то незримый пишетъ передо мною могущественнымъ перомъ“. Въ каждой своей неудачѣ, какъ и въ каждомъ счастливомъ случаѣ, онъ старается угадать велѣнія и указанія Провидѣнія, и его „посѣщаетъ мысль“, что даже недоразумѣнія между нимъ и матерью идутъ отъ „Самого Бога“. Уже послѣ изданія „Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки“, онъ пишетъ матери, что скоро „начнетъ свою службу истинную отечеству, къ которой готовить его Самъ Богъ“. Эта вѣра въ неземное руководство такъ сильна въ Гоголѣ, что подавляетъ въ немъ всѣ доводы логики, затмеваетъ въ немъ и наблюдательность и чувство дѣйствительности.\*

\* Впрочемъ, и въ судьбахъ всего человѣчества, и отдѣльныхъ народовъ Гоголь всегда усматривалъ элементъ чудеснаго. Средніе вѣка кажутся ему

Всего ярче сказалось это, быть можетъ, на изданіи „Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями“. Прежде всего Гоголь былъ увѣжденъ, что написать книгу помогло ему особое чудо Божіе. „Вдругъ остановились самые тяжелые недуги,—пишетъ онъ,—вдругъ отклонились всѣ помѣшательства въ работѣ, и продолжалось все это до тѣхъ поръ, покуда не кончилась послѣдняя строка“. Посылая рукопись Плетневу, Гоголь приглашалъ его бросить всѣ свои дѣла и заняться печатаніемъ его книги. „Другъ мой! — пишетъ онъ. — Я дѣйствовалъ твердо во имя Бога, когда составлялъ мою книгу, во славу Его святого имени взялъ перо; а потому и разступились передъ мною всѣ призракѣ и все останавливающее безсильнаго чело-вѣка. Дѣйствуй же и ты во имя Бога, печатая мою книгу, какъ бы дѣлалъ симъ дѣло на прославленіе имени Его“. Гоголь увѣренъ былъ въ могущественномъ вліяніи книги на читателей и въ быстрой ея распродажѣ. Плетневу онъ поручилъ заготовить бумагу и для втораго изданія. Увы! То, что она была „нужна всѣмъ“, было также одной изъ безчисленныхъ иллюзій Гоголя!

Въ жизни Гоголя не было страсти къ женщинѣ; въ его біографіи нѣтъ обычныхъ романовъ любви. Но это не отъ недостатка страстности,—скорѣе отъ избытка ея. И въ страсти, какъ во всѣхъ переживаніяхъ, Гоголь могъ бы только итти до предѣла. Когда юношей, въ письмѣ къ матери (можетъ быть, намекая на истинное происшествіе, можетъ быть, рассказывая о вымышленномъ событіи), онъ пишетъ о своей влюбленности, онъ выбираетъ слова самыя изступленныя: „Адская тоска съ всевозможными муками кипѣла въ груди моей. О, какое жестокое состояніе!.. Въ порывѣ бѣшенства и ужаснѣйшихъ душевныхъ терзаній, я жаждалъ, кипѣлъ упиться однимъ только взглядомъ, только одного взгляда алкалъ я... Если бы она была женщина, она бы всею силою своихъ очарованій не могла произвести такихъ ужасныхъ, невыразимыхъ впечатлѣній. Это было божество!“ Въ другомъ письмѣ, обращенномъ къ одному изъ своихъ товарищей, влюбленному въ то время, Гоголь писалъ: „Очень понимаю и чувствую состояніе души твоей, хотя самому, благодаря судьбу, не удалось испытать. Я потому говорю благодаря, что это пламя меня превратило бы въ прахъ въ одно мгновеніе. Къ спасенію моему, твердая воля отводила меня отъ желанія заглянуть въ пропасть“.

рядомъ событій „чудесныхъ и необыкновенныхъ“. Власть панамъ „какъ будто нарочно дана была для того, чтобы юныя государства окрѣпли и возмужали“. „Россія облеклась вдругъ въ государственное величіе“ и т. д. Значительное число такихъ примѣровъ собрано въ „Матеріалахъ“ В. Шенрока, IV, 622 и сл.

Все, что мы знаем о Гоголе, позволяет нам думать, что не только на пути женской любви стоялъ передъ нимъ соблазнъ „заглянуть въ пропасть“. Каждое чувство въ немъ грозило разгорѣться въ такое пламя, которое способно въ одно мгновенье обратить въ прахъ. Развѣ не губительнымъ огнемъ разгоралась въ немъ, годъ за годомъ, его любовь къ родинѣ, къ Россіи? Юношей эта любовь разрѣшалась просто мечтами о „службѣ государственной“, о „поднятіи труда важнаго, благороднаго на пользу отечества“, мечтами, отъ которыхъ онъ „вспыхивалъ огнемъ гордаго самосознанія“. Но во что разгорѣлся этотъ „огонь гордаго самосознанія“ въ заключительныхъ строкахъ „Мертвыхъ душъ“! — „Не такъ ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Остановился, пораженный Божиимъ чудомъ созерцатель: не молнія ли это, сброшенная съ неба? Что значитъ это наводящее ужасъ движеніе?.. Летитъ мимо все, что ни есть на землѣ, и косясь постораниваются и даютъ ей дорогу другіе народы“. А въ „Перепискѣ съ друзьями“, уже какъ выношенную истину, утверждаетъ Гоголь, что нѣтъ ничего подобнаго Россіи, что она—государство единственное, особое, избранное. „Зачѣмъ ни Франція, ни Англія, ни Германія не пророчествуютъ о себѣ, — восклицаетъ онъ, — а пророчествуетъ только одна Россія? Зачѣмъ, что она слыше другихъ слышитъ Божию руку на всемъ, что ни сбывается съ ней, и чувствуетъ приближеніе иного царствія“.

Подобно этому, съ дѣтства пылавшій въ душѣ Гоголя огонь религіознаго восторга, къ послѣднимъ годамъ его жизни разгорѣлся въ смертный костеръ. Въ предисловіи къ „Выбраннымъ мѣстамъ“ Гоголь указываетъ на тяжелую болѣзнь, заставившую его живѣе обратиться къ Богу, но такое объясненіе и не нужно. Въ мистической экзальтаціи Гоголь только шелъ до конца по тому пути, на которомъ стоялъ съ раннихъ лѣтъ, какъ до конца шелъ онъ и по всѣмъ другимъ путямъ своей жизни. Въ аскетизмъ устремлялся онъ съ той же неудержимостью, какую вносилъ въ описаніе широты Днѣпра или очей албанки Аннунціаты. Въ религію заглянулъ онъ, какъ въ одну изъ пропастей, развернутыхъ передъ нимъ, и кинулся въ эту пропасть, какъ въ ту безконечность, въ ту безпредѣльность, которой всегда жаждала душа его. „Соотечественники, страшно!“ — вогласилъ онъ, самъ сознавая, что падаетъ, наконецъ, въ разверстую бездну. Но ни доводы друзей, ни очевидность послѣдней гибели не могли остановить его. И вотъ Гоголь издаетъ „Выбранныя мѣста изъ переписки“, пишетъ „Авторскую исповѣдь“, ѣдетъ въ Святую землю, въ страшную ночь сжигаетъ 2-ую часть „Мертвыхъ душъ“, въ еще болѣе страшный день даетъ отцу Матвѣю обѣщаніе не писать болѣе, отречься отъ литературы...

Если вся жизнь Гоголя была мечтой, если все въ его творчествѣ было преувеличеніемъ, — то какое фантастическое видѣніе, какая величественная гипербола его послѣдніе дни! До послѣднихъ предѣловъ стремился Гоголь исполнить заповѣди Христа, какъ въ то время понималъ ихъ; до послѣднихъ предѣловъ стремился довести свое смиреніе, свое покаяніе, свое усердіе въ постѣ и молитвѣ. Разказы лицъ, наблюдавшихъ его въ послѣднія недѣли его жизни, производятъ впечатлѣніе потрясающее.

„На масляной недѣлѣ, — рассказываетъ Аксаковъ, — началъ онъ говѣть и поститься: сталъ ѣсть все меньше и меньше, хотя, повидимому, не терялъ аппетита и жестоко страдалъ отъ лишенія пищи.. Нѣсколько дней питался одною просфорой. Свое пощеніе не ограничивалъ пищею, но и сонъ умѣрилъ до чрезмѣрности; послѣ ночной продолжительной молитвы рано вставалъ и шелъ къ заутрени. Наконецъ, онъ такъ ослабъ, что едва держался на ногахъ. Однажды цѣлый день не хотѣлъ ѣсть; когда же послѣ съѣлъ просфору, то назвалъ себя обжорою, окаяннымъ, нетерпѣливцемъ и сокрушался сильно“. Силы Гоголя начали падать быстро и невозвратно послѣ такого поста; онъ явно умиралъ, но и это не могло одолѣть его рѣшимости. Напрасно друзья и духовники, которыхъ побуждалъ къ тому митрополитъ Филаретъ, убѣждали его принимать пищу и лѣкарства. Гоголь не умѣлъ и не могъ слушаться чужихъ совѣтовъ, такъ какъ всю жизнь привыкъ руководиться властными влеченіями своей души, своей мысли. Наконецъ, онъ слегъ, но и здѣсь на всѣ уговоры врачей, на ихъ попытки освидѣтельствовать его, отвѣчалъ кротко и твердо: „оставьте меня“. Онъ шелъ до конца по тому пути, на который вступилъ.

Извѣстно, что врачи порѣшили обращаться съ Гоголемъ, какъ съ человѣкомъ, не владѣющимъ собою, пытались лѣчить его насильно, обратили его послѣдніе часы въ пытку. Но Гоголь не только въ тѣ дни и часы не владѣлъ собою. Въ такой же мѣрѣ онъ не владѣлъ собою, когда создавалъ свои призрачные образы, населяя Россію видѣніями своей фантазіи, когда свое дѣло писателя обращалъ въ подвигъ, а работу надъ слогомъ—въ „мученичество“, когда ставилъ передъ собой и передъ другими безпощадныя требованія и суровые идеалы въ своихъ письмахъ, въ своей „Перепискѣ“. Въ послѣдніе дни жизни Гоголя только явственнѣе означилась удивительная гармонія, существовавшая между его жизнью и его поэзіей. Въ жизни, какъ въ творчествѣ, онъ не зналъ мѣры, не зналъ предѣла, — въ этомъ и было все его своеобразіе, вся его сила и вся его слабость. Всѣ созданія Гоголя—это мѣръ его грезы, гдѣ все разрасталось до размѣровъ неимоверныхъ, гдѣ все являлось въ преувеличенномъ видѣ или чудовищно ужаснаго или

ослѣнительно прекраснаго. Вся жизнь Гоголя—это путь между пропастями, которыя его влекли къ себѣ; это—борьба „твердой воли“ и сознанія высокаго долга, выпавшаго ему на долю, съ пламенемъ, таившемся въ душѣ и грозившимъ въ одно мгновеніе обратить его въ прахъ. И когда, наконецъ, этой внутренней силѣ, жившей въ немъ, Гоголь далъ свободу, позволилъ ей развиться по волѣ,—она, дѣйствительно, испепелила его.

В а л е р і й Б р ю с о в ѣ .